

Ольге Шмелевой

I

Я человек мирный и выдержанный при моем темпераменте — тридцать восемь лет, можно так сказать, в соку кипел, — но после таких слов прямо как ожгло меня. С глазу на глаз я бы и пропустил от такого человека... Захотел от собаки кулебяки! А тут при Колюшке — и такие слова!..

— Не имеете права елозить по чужой квартире! Я вам доверял и комнату не запираю, а вы с посторонними лицами шарите!.. Привыкли в ресторанах по карманам гулять, так думаете, допущу в отношении моего очага!..

И пошел... И даже не пьяный. Чисто золото у него там... А это он мстил нам, что с квартиры его просили, чтобы комнату очистил. Натерпелись от него всего. В участке писарем служил, но очень гордый и подозрительный. И я его честью просил, что нам невозможно в одной квартире при таком гордом характере и постоянно нетрезвом виде, и вывесил к воротам записку. Так ему досадно стало, что я комнату его показал, — и накинудся.

«За человека не считаете» — и то и се!.. А мы, напротив, с ним всегда очень осторожно и даже стереглись, потому что Колюшка предупреждал, что он может быть очень зловредный при своей службе. А у меня с Колюшкой тогда часто разговор был про мое занятие. Как он вырос и стал образованный, очень было не по нем, что я при ресторане. Вот Кривой-то, жилец-то наш, — фамилия ему Ежов, а это мы его промежду собой звали, — и ударил в этот пункт. По карманам гуляю! Чуть не зашиб я его за это слово, но он очень хитрый и моментально заперся на ключ. Потом записку написал и переслал мне через Лушу, мою супругу. Что от огорчения это он и неустройства, и предлагал набавить за комнату полтинник. Плюнул я на эти пустые слова, когда он и раньше-то по полтинникам платил. Только бы очистил квартиру, потому что прямо даже страшный по своим поступкам... И на

глаза-то всегда боялся показаться — все мимо шмыгнуть норовил. Но с Колюшкой был у меня очень горячий разговор. Я даже тогда пощечину ему дал за одно слово... И часто он потом мне всё замечания делал:

— Видите, папаша... Всякий негодяй может ткнуть пальцем!..

А я смолчу и думаю себе: молод еще и не понимает всей глупины жизни, а вот как пооботрется да приглядится к людям — другое заговорит.

А все-таки обидно было от родного сына подобное слушать, очень обидно! Ну лакей, официант... Что ж из того, что по назначению судьбы я лакей! И потом, я вовсе не какой-нибудь, а из первоклассного ресторана, где всегда самая отборная и высшая публика. К нам мелкоту какую даже и не допускают, и на низ, швейцарам, строгий наказ дан, а все больше люди обстоятельные бывают — генералы, и капиталисты, и самые образованные люди, профессора там и вообще, коммерсанты и аристократы... Самая тонкая и высокая публика. При таком сорте гостей нужна очень искусственная служба, и надо тоже знать, как держать себя в порядке, чтобы не было какого неудовольствия. К нам принимают тоже не с ветру, а все равно как сквозь огонь пропускают, как все равно в какой университет. Чтобы и фигурой соответствовал, и лицо было чистое и без знаков, и взгляд строгий и солидный. У нас не прими-подай, а со смыслом. И стоять надо тоже с пониманием, и глядеть так, как бы и нет тебя вовсе, а ты все должен уследить и быть начеку. Так это даже и не лакей, а как все равно метрдотель из второклассного ресторана.

— Ты, — говорит, — исполняешь бесполезное и низкое ремесло! Кланяешься всякому прохвосту и хаму... Пятки им лижешь за полтинники!

А?! Упрекал меня за полтинники! А ведь он и вырос-то на эти полтинники, которые я получал за все — и за поклонны, и за услужение разным господам, и пьяным, и благородным, и за разное! И брюки на нем шились на эти полтинники, и курточки, и книги куплены, которые он учил, и сапоги, и все! Вот что значит, что он ничего-то не знал из жизни! Посмотрел бы он, как кланяются и лижут пятки, и даже не за полтинник, а из высших соображений! Я-то всего повидал.

Когда раз в круглой гостиной был сервирован торжественный обед по случаю прибытия господина министра и я с прочими номерами был приставлен к комплекту, сам собственными

глазами видел, как один важный господин, с орденами по всей груди, со всею скоростью юркнули головой под стол и подняли носовой платок, который господин министр изволили уронить. Скорей моего поднял и даже под столом отстранил мою руку. Это даже и не их дело — по полу елозить за платками... Поглядел бы вот тогда Колюшка, а то — лакей! Я-то, натурально, выполняю свое дело, и если подаю спичку, так подаю по уставу службы, а не сверх комплекта...

Я как начал свою специальность, с мальчишек еще, так при ней и остался, а не как другие, даже очень замечательные господа. Сегодня, поглядишь, он орлом смотрит, во главе стола сидит, шлосганисберг или там шампанское тянет, и палец мизинец с перстнем выставил, и им знаки подает на разговор, и в бокальчик гукает, что не разберешь; а другой раз усмотришь его в такой компании, что и голосок-то у него сладкий и тонкий, и сидит-то он с краешку, и голову держит, как цапля, настороже, и всей-то фигурой играет по одному направлению. Видали...

И обличьем я не хуже других. Даже у меня сходство с адвокатом Глотановым, Антон Степаньчем, — наши все смеялись. Оба мы во фраках, только, конечно, у них фрак шит поровней и матерьялец получше. Ну, живот у них, правда, значительней и пущена толщенная золотая цепь. А тоже лысинка, и вообще в масть. Только вот бакенбарды у меня, а у них без пробрития. А если их пробрить да нацепить на бортик номер, очень бы хорошо сошли заместо меня. И у меня бумажник, но только разница больше внутренняя. У них бумажник, конечно, вздут, и выглядывают пачечки разных колеров, и лежат вексельки, а у меня бумажник сплюснен и никаких колеров не имеется, а заместо вексельков вот уже три недели лежат две визитные карточки: судебного кандидата Перекрылова на двенадцать рублей, по случаю забытых дома денег, и господина Зацепского, театрального певца, с коронкой, на девять рублей по тому же поводу. Вот уже они три недели не являются и думают не платить, но это — подожди, мадам! Таких господ и у нас немало, и если бы платить за всех забывающих, так не хватило бы даже государственного банка, я так полагаю.

Есть которые без средств, а любят пустить пыль в глаза и пыжятся на перворазрядный ресторан, особенно когда с особами из высшего полета. Очень лестно подняться по нашим коврам и ужинать в белых залах с зеркалами, особенно при требователь-

ности избалованных особ женского пола... Ну и не рассчитают паров. И нехорошо даже смотреть, как конфузятся и просматривают в волнении счет и как бы для проверки вызывают в коридор. Даже с дрожью в голосе. Потому стыдно им перед особами. Ну, на страх и риск и принимаешь карточки. И выгодно бывает, когда в благодарность прибавят рублика два. Это ни для кого не вредно, а даже полезно и помогает обороту жизни. И тут ничего такого нет. Сам даже Антон Степаныч, когда завтракают с деловыми людьми, очень хорошо говорят про оборот капитала, и у них теперь два дома на хорошем месте, и недавно их поздравляли еще с третьим, по случаю торгов.

А потом, с ними ведут дружбу Василь Василич Кашеротов, «первой помощи человек», как у нас про них говорят. У них всегда при себе пустые вексельки, чтобы молодым людям из хорошего семейства дать в момент и получить пользу. А совсем на моих глазах в люди вышли и в знакомстве с такими лицами, что... Даже состоят как бы в попечителях при женском монастыре и любитель, особливо обожают послушниц — и достигают, по своему влиянию и жертвам. Даже по случаю такой их специальности насчет вексельков будто некоторые очень шикарные дамы из семейств бывают с ними в знакомстве. Да-а!.. Что значат деньги! А сами из себя сморщены, и изо рта у них слышно на довольно большое расстояние ввиду гниения зубов.

Конечно, жизнь меня тронула, и я несколько облез, но не жигуляст, и в лице представительность, и даже баки в нарушение порядка. У нас ресторан на французский манер, и потому все номера бритые, но когда директор Штросс, нашего ресторана, изволили меня усмотреть, как я служил им, — у них лошади отменные на бегах и две любовницы, — то потребовали метрдотеля и наказали:

— Оставить с баками.

Игнатий Елисеич живот спрятал из почтения и изогнулся:

— Слушаюсь. Некоторые одобряют, чтобы представительность...

— Вот. Пусть для примера остается.

Так специально для меня и распорядились. А Игнатий Елисеич даже строго-настрою наказал:

— И отнюдь не смей сбрить! Это тебе прямо счастье.

Ну, счастье! Конечно, виду больше и стесняются полтинник дать, но мешает при нашем деле.

Вообще, вид у меня очень приличный и даже дипломатический — так, бывало, в шутку выражал Кирилл Саверьяныч. Кирилл Саверьяныч!.. Ах, каким я его признавал и как он совсем испрокудился в моих глазах! Какой это был человек!.. Ежели бы не простое происхождение, так при его бы уме и хорошей протекции быть бы ему в государственных делах. Ну и натворил бы он там всего! А у него и теперь парикмахерское заведение, и торгует духами. Очень умственный человек и писал даже про жизнь в тетрадь.

Много он утешал меня в скорбях жизни и спорил с Колюшкой всякими умными словами и доказывал суть.

— Ты, Яков Софроныч, облегчаешь принятие пищи, а я привожу в порядок физиономию, и это не мы выдумали, а пошло от жизни...

Золотой был человек!

И вот когда во всем параде стоишь против зеркальных стен, то прямо нельзя поверить, что это я самый и что меня, случилось, иногда в нетрезвом виде ругнут в отдельном кабинете, а раз... А ведь я все-таки человек не последний, не какой-нибудь бездомовный, а имею местоположение и добываю не гроши какие-нибудь, а когда семьдесят, а то и восемьдесят рублей, и понимаю тонкость приличия и обращение даже с высшими лицами. И потом, у меня сын был в реальном училище, и дочь моя, Наташа, получила курс образования в гимназии... И вот при всем таком обиходе иной раз самые благородные господа, которые уж должны понимать... Такие тонкие по обращению и поступкам и говорят на разных языках!.. Так деликатно кушают и осторожно обращаются даже с косточкой, и когда стул уронят, и тогда извиняются, а вот иногда...

И вот такой-то вежливый господин в мундире, и на груди круглый знак, сидевши рядом с дамой в большущей шляпе с перьями, — и даму-то я знал, из какого она происхождения, — когда я краем рыбьего блюда задел, по тесноте их друг к дружке, за край пера, обозвал меня болваном. Я, конечно, сказал — виноват-с, потому — что же я могу сказать? Но было очень обидно. Конечно, я получил на чай целковый, но не в извинение это, а для фону, чтобы пыль пустить и благородство свое перед барыней показать, а не в возмещение. Конечно, Кирилл Саверьяныч, по шустроте и оборотливости ума своего, обратил все это в недоумение, которое постигает и самых прославленных людей, и все-таки это нехорошо. Он даже говорил про книгу, в которой

один ученый написал, что всякий труд честен и благороден и словами человека замарать нельзя, но я-то это и без книги знаю, и все-таки это нехорошо. Хорошо говорить, как не испытано на собственной персоне. Ему хорошо, как у него заведение, и если его кто болваном обзовет, он сейчас к мировому. А ты завтра же полетишь за скандал и уже не попадешь в первоклассный ресторан, потому сейчас по всем ресторанам зазвонят. А ученый может все писать в своей книге, потому его никто болваном не обзовет. Побывал бы этот ученый в нашей шкуре, когда всякий за свой, а то и за чужой целковый барина над тобой корчит, так другое бы сказал. По книгам-то все гладко, а вот как Агафья Марковна порасскажет про инженера, так и выходит на поверку..

Ужинали у нас ученые-то эти. Одного лысенького поздравляли за книгу, а посуды наколотили на десять целковых. А не понимают того, с кого за стекло вычитает метрдотель по распоряжению администрации. Нельзя публику беспокоить такими пустяками, а то могут обидеться! Они, по раздражению руки, в горячем разговоре бокальчик о бокальчик кокнул, а у тебя из кармана целковый выхватили. Это ни под какую науку не подведешь.

Поглядишь, как Антон Степаныч деликатесы разные выбирает и высшей маркой запивает, так вот и думается — за какой такой подвиг ему все сие ниспослано — и дома, и капиталы, и все? И нельзя понять. И потом, его даже приятели прямо жуликом называют. Чистая правда.

Как был ежегодный обед правления господ фабрикантов, у которых Антон Степаныч дела ведет по судам и со всеми судится, то были все капиталисты, и даже всесветный миллионер Гущин. И за веселым обедом — сам слышал — этот самый господин Гущин хлопнет Антон Степаныча по ляжке и вытянет:

— Да уж и жу-у-лик ты, золотая голова!

И все очень смеялись, и Антон Степаныч подмигивал и хвастал, что не на их лбу гвозди гнуть. А как прибыли потом французенки на десерт, так одна попробовала тоже господину Гущину потрафить и тоже Антон Степаныча жуликом, а у ней все выходило «зу-у-лик», — так погоди! Очень из себя господин Глотанов вышли и в нетрезвом виде, конечно, крикнули:

— Всякая... такая... тоже!..

Очень резкое слово произнесли и употребили жест. И такой вышел скандал, что только при уважительном отношении к на-

шему ресторану осталось без последствий. А у девицы все платье зернистой икрой забрызгали... Целый жбан перекувырнули! Всего бывало.

Смотришь на все это, смотришь... А-а... Несчастные творения Бога и Творца! Сколько перевидал я их! А ведь чистые и невинные были, и вот соблазнены и отданы на уличное терзание. И никакого внимания... Придешь, бывало, домой, помолишься Богу и ляжешь... А за стенкой Наташа. Тихо так дышит... И раздумываешься... Что ожидает ее в жизни? Ей не останется от нас купонов и разных билетов, выигрышных и других, и домов многоэтажных, как получили в наследство барышни Пупаевы, в доме коих я тогда квартировал.

II

Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло... Таким ужасным ходом пошло, как завертелось...

Как раз было воскресенье, сходил я к ранней обедне, хотя Колюшка и смеялся над всяким религиозным знамением усердия моего, и пил чай не спеша по случаю того, что сегодня ресторан отпираем в двенадцать часов дня. И были пироги у нас с капустой, и сидел парикмахер и друг мой, Кирилл Саверьяныч, который был в очень веселом расположении: очень отчетливо прочитал Апостола за литургией. И потому говорил про природу жизни и про политику. Он только по праздникам и говорил, потому что, как верно он объяснял, будни предназначены для неусыпного труда, а праздники — для полезных разговоров.

И когда заговорил про религию и веру в высшего Творца, я, по своему необразованию, как повернул потом Кирилл Саверьяныч, возроптал на ученых людей, что они по своему уму уж слишком полагаются на науку и мозг, а Бога не желают признавать. И сказал это от горечи души, потому что Колюшка никогда не ходит в церковь. И сказал, что очень горько давать образование детям, потому что можно их совсем загубить. Тогда мой Колюшка сказал:

— Вы, папаша, ничего не понимаете по науке и находитесь в заблуждении. — И даже перестал есть пирог. — Вы, — говорит, — ни науки не знаете, ни даже веры и религии!..

Я не знаю веры и религии! Ну и хотел я его вразумить насчет его слов. И говорю:

— Не имеешь права отцу так! Ты врешь! Я, конечно, твоих наук не проник и географии там не учился, но я тебя на ноги ставлю и хочу тебе участь предоставить благородных людей, чтобы ты был не хуже других, а не в холуи тебя, как ты про меня выражаешь... — Так его и передернуло! — А если бы я религии не признавал, я бы давно отчаялся в жизни и покончил бы, может быть, даже самоубийством! И вот учишься ты, а нет в тебе настоящего благородства... И горько мне, горько...

И Кирилл Саверьяныч даже в согласии опустил голову к столу, а Коллошка мне напротив:

— Оставьте ваши рацеи! Если бы, — говорит, — вам все открыть, так вы бы поняли, что такое благородство. А ваши моления Богу не нужны, если только Он есть!

Ведь это что такое! Я ему про веру и религию, а он свое... Клял я себя, зачем по ученой части его пустил. Охажками книги таскал и по ночам сидел, сколько керосину одного извел. И еще Васиков этот ходил к нему из управления дороги, чахоточный... И злой стал, прямо как чумный, и исхудал...

Я на него пальцем погрозил за его слово о Творце, и Кирилл Саверьяныч так это на него посмотрел, — очень он мог так и рот, бывало, скосит, — а тот как вскочит! И стал всех... и даже... известных лиц ругать и называть всякими словами, так что было страшно, и Кирилл Саверьяныч пришел в беспокойство и все покашливал и поглядывал в окно.

— Напрасно старались! — прямо кричит. — Знаю, какого вам благородства нужно! Тут вот чтобы!.. — В пиджак себя тыкать стал. — Так я буду лучше камни по улицам гранить, чем доставлю вам такое удовольствие!

Прямо как сумасшедший. А? Зачем я-то старался? Зачем просил господина директора училища, чтобы от платы освободили? И только потому, что они у нас в ресторане бывали и я им угождал и повара Алексей Фомича просил отменно озаботиться, они, в снисхождение моим услугам, сделали льготу. И три раза прошения подавал с изложением нужды, и счета... сколько раз укорачивал, — можно это при сношении с марочником на кухне, — и внимания добился. И за все это такие слова!

Но тут уж сам Кирилл Саверьяныч стал ему объяснять.

— Вы, — говорит, — еще очень молодой юноша и с порывом и еще не проникли всей глубины наук. Науки постепенно при-

двигают человека к настоящему благородству и дают вечный ключ от счастья! — Прямо замечательно говорил! — Вера же и религия смягчит дух. И вот, — говорит, — смотрите, что будет с науками. Я, — говорит, — сейчас, конечно, парикмахер, и если бы не научное совершенство в машинах, то должен бы ножницами наголо стричь десять минут при искусстве, как я очень хороший мастер. А вот как изобрели машинку, то могу в одну минуту. Так и все. И придет такое время, когда ученые изобретут такие машины, что все будут они делать. И уж теперь многое добывают из воздуха машинами, и даже сахар. И вот когда все это будет, тогда все будут отдыхать и познавать природу. И вот почему надо изучать науки, что и делают люди благородные и образованные, а нам пока всем терпеть и верить в Промысел Божий. Этого вы не забывайте!

Я вполне одобрил эти мудрые слова, но Колюшка не унялся и прямо закидал Кирилла Саверьяныча своими словами:

— Не хочу вашей чепухи! А-а... По-вашему, пусть лошадкадохнет, пока травка вырастет? Вам хорошо, как вы духами торгуете да разным господам морды бреете не своими трудами! Красите да лак наводите, плечи им прикрываете, чтобы были в освеженном виде!..

Кирилл Саверьяныч осерчал, как очень самолюбивый, и даже поперхнулся.

— Евангелие, — говорит, — сперва разучите, тогда я с вами буду толковать! Я философию прошел! Вы сперва с мое прочтите, тогда... Я вашего учителя научу, а не то что...

И пальцем себя в грудь. Ну и мой-то ему тоже ни-ни... Тот пять — он ему двадцать пять! Тоже много прочитал.

— А-а... Вы на Евангелие повернули! Так я вам его к носу преподнесу! Веру-то вашу на все пункты разложу и в нос суну! Цифрами вам ваши машины представляю, лохмотьями улицы запружу! Такого вам Евангелия нужно?! Вы, — говорит, — на нем теперь бухгалтерию заносите за бритве и стрижку!..

И прямо как бешеная собака. Очень он у меня горячий и чувствительный. Ну и здесь тоже Бог не обидел. Бегает по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит и пошел про жизнь говорить, и про политику, и про все. И фамилии у него так и прыгают. И славных и препрославных людей поминает... и печатает. И про историю... Откуда что берется. Очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и эдак, и вот в чем благородство жизни!

Кирилл Саверьяныч совсем ослаб и только рот кривил. Но это он так только, для вида ослаб, а сам приготавливал речь. И начал так вежливо и даже рукой так:

— Это с вашей стороны один пустой разговор и изворот. Это все насилие и в жизни не бывает. Подумайте только хорошенько, и вам будет все явственно. Я очень хорошо знаю политику и думаю, что...

А Колюшка как стукнет кулаком по столу — посуда запрыгала. Он широкий у меня и крепкий, но очень горяч.

— Ну, это предоставьте нам, думать-то, а вы морды брейте!

Очень дерзко сказал. А Кирилл Саверьяныч опять тихо и внятно:

— Погодите посуду бить. Вы еще не выпили, а крикаете. И потом, кто это вы-то? Вы-то, — говорит, — вот кончите учење, будете инженером, мостики будете строить да дорожки проводить... Как к вам денежки-то поплывут, у вас на ручках-то и перчаточки, и тут туго, и здесь, и там кой-где лежит и прикладывается. И домики, и мадамы декольте... С нами тогда, которые морды бреют-с, и разговаривать не пожелаете... Нет, вы погодите-с, рта-то мне не зажимайте-с! Это потом вы зажмете-с, когда я вас брить буду... И книжечки будете читать, и слова разные хорошие — девать некуда! А ручками-то перчаточными кой-кого и к ногтю, и за горлышко... Уж всего повидали-с — девать некуда! А то правда! Правда-то, она... у Петра и Павла!

Прямо завесил все, и насмарку. Необыкновенный был ум! Колюшка только сощурился и в сторону так:

— Вам это по опыту знать! А позволте спросить, сколько вы с ваших мастеров выколачиваете?

И только Кирилл Саверьяныч рот раскрыл, вдруг Луша вбегает и руками так вот машет, а на лице страх. Да на Колюшку:

— Матери-то хоть пожалей! Погубишь ты нас! Кривой-то ведь все слышал!..

Ах ты, господи! О нем-то мы и забыли, которого гнать-то все собирались. Очень по всем поступкам неясный был человек. Раньше будто в резиновом магазине служил, и жена его с околоточным убежала. Снял у нас комнатку с окном на помойку и каждый вечер пьяный приходил и шумел с собой. Сейчас гитару со стены и вальс «Невозвратное время» до трех ночи. Никому спать не давал, а если замечание — сейчас скандалить:

— Еще узнаете, что я из себя представляю! Думаете, писарь полицейский? Не с той марки! У меня свои полномочия!

Прямо запугал нас. И такая храбрость в словах, что удивительно. Время-то какое было! А то бросит гитару и притихнет. Луша в щелку видала. Станет середь комнатки и волосы ершит и все осматривается. И клопов свечкой под обоями палил, того и гляди — пожар наделает. Навязался, как лихорадка.

Так вот этот самый Кривой — у него левый глаз был сощурен — появляется вдруг позади Луши в новом пиджаке, лицо ехидное, и пальцем в нас тычет с дрожью. И по глазу видно, что готов.

— Вот когда я вас устерег! Чи-то-ссс?! Вы меня за сыщика признавали, ну так номером ошиблись! Я вам поставлю на вид политический разговор! Чи-то-ссс!..

Знаю, что вовсе дурашливый человек, да еще на взводе, молчу. Колюшка отворотился — не любил он его, а Кирилл Саверьяныч сейчас успокаивать:

— Это спор по науке, а не насчет чего... И не желаете ли стаканчик чайку...

Вообще тонко это повел дело.

— И мы, — говорит, — сами патриоты, а не насчет чего... И вы, пожалуйста, не подумайте. У меня даже парикмахерское заведение...

А Кривой совсем сощурился и даже боком встал.

— Оставьте ваши комплименты! Я и без очков вижу отношение! Произвел впечатление?! Чи-то-ссс? Я, может, и загублю вас всех, и мне вас очень даже жалко, по моему образованному чувству, но раз мною пренебрегли и гоните с квартиры, как последнюю сволочь, не могу я допустить! И ежели ты холуй, — это мне-то он, — так я ни у кого...

Очень нехорошо сказал. Как его Колюшка царапнет стаканом — и залил всю фантазию и пиджачок. Вскочили все. Кирилл Саверьяныч Колюшку за руки схватил, я Кривому дорогу загородил к двери, чтобы еще на улице скандала не устроил, Луша чуть не на коленки, умоляет снизойти к семейному положению, и Наташа тут еще, а Кривой выпучил глаза да так и сверлит и пальцем в пиджак тычет. Такой содом подняли... А тут еще другой наш жилец заявился, музыкантом ходил по свадьбам и на большой трубе играл, Черепахин по фамилии, Поликарп Сидорыч, сложения физического... И сейчас к Наташке:

— Не обидел вас? Пожалуйста, отойдите от неприятного разговора...

И сейчас на Кривого:

— Я вам голову оторву, если что! Насекомая проклятая! Сукин вы сын после этого! При барышне оскорбляете!..

И его-то я молю, чтобы не распространял скандала, но он очень горячий и к нам расположен. Так и норовит в морду зацепить.

— Пустите, я его сейчас отлакирую! Я ему во втором глазе затмение устрою! Сибирный кот!..

А Кривой шебуршит, как вихрь, и нуль внимания. И Кирилл Саверьяныч его просил:

— Вы молодого человека хотите погубить, это недобросовестно! Это даже с вашей стороны зловредно! Дело о машинах шло и сути жизни, а вы вывернули на политическую подкладку...

А тот себя в грудь пальцем и опять:

— Я знаю, какая тут подкладка! Он мне новый пиджак изгадил! Я не какой-нибудь обормот!.. У меня интеллигентные замашки!

— Это мы сделаем-с... — Кирилл Саверьяныч-то. — Отдадим в заведение и все выведем. У меня и брат двоюродный у Букермана служит...

— Дело, — кричит, — не в пиджаке! Вы на пиджак не сводите! Тут материя не та! У меня кровь благородного происхождения, и ничто не может меня удовлетворить! Я, может, еще подумаю, но пусть сейчас же извинения просит!..

Я, конечно, чтобы не раздувать, Колюшке шепотом:

— Извинись... Ну, стоит со всяким...

— И пиджак мне чтобы беспреренно новый!

А Колюшка как вскинется на меня:

— Чтобы я у такого паразита!..

— А-а... Я паразит? Ну, так я вам пок-кажу!..

Сейчас в карман — раз — и вынимает бумажку. Так нас всех и посадил.

— А это чи-то-ссс?! Паразит? Сами желали-с, так раскусите циркуляр! До свидания.

И пошел. Кирилл Саверьяныч за ним пустился, а я говорю Колюшке:

— Что ты делаешь со мной? Я кровью тебя вскормил-воспитал, от платы тебя освободил по моему усердному служению... А?! И ты так! Что теперь будет-то?

— Напрасно, — говорит, — себя беспокоили и всякому каналье служили! Не шпана за меня платила, которая сама сорвать норовит... А Кривой, пожалуй, и не виноват... Где падаль, там и черви.

— Какие черви?

— Такие, зеленые... — И смеется даже!..

— Да ты что это? — говорю ему строго. — Что ты из себя воображаешь?

— Ничего. Давайте чайку поьем, а то вам скоро в ваш ресторан...

— Ну, ты мне зубы не заговаривай, — говорю. — Ты у меня смотри!

— Чудак вы! Чего расстроились? Я вас хотел от оскорбления защититить...

— Хорошо, — говорю, — защитил! Теперь он к мировому за пиджак подаст, в полицию донесет, какие ты речи говорил... Сам видишь, какой каверзник! Он теперь тебе и в училище может повредить...

А тут Кирилл Саверьяныч бледный прибежал, руками машет, галстук на себе вертит в расстройстве чувств.

— Ушел ведь! Должно быть, в участок! И меня теперь с вами запутают... Меня все знают, что я мирный, а теперь из-за мальчишки и меня! Ты помни, — говорит. — Я про машины говорил, и про науку, и насчет веры в Бога и терпения... Теперь время сурьезное, а мне и без политики тошно... Дело падает...

Схватил шапку и бежать. И пирога не доел. Что делать! Хотел за ним, совета попросить, смотрю — а уж без двадцати двенадцать: в ресторан надо. А день праздничный, бойкий, и надо начеку быть.

Иду и думаю: и что только теперь будет! Что только будет теперь!

III

И как раз в тот день чудасия у нас в ресторане вышла. Игнатий Елисеич новое распоряжение объявил:

— С завтрашнего дня чтобы всем номерам подковаться для тишины!

Шибко у нас смеялись, а мне не до смеху. Слушаешь, что по карточке заказывают и объясняют, как каплунчики ришелье деландес подать, а в голове стоит и стоит, как с Кривым дело обернется. А тут еще господин Филинов, директор из банка, — у них очень большой живот, и будто в них глист в сто аршин живет, в животе, — который у нас по всей карте прошел на пробах, очень знаток насчет еды, подняли крышечку со сковородки — и никогда не велят поднимать, а сами всегда и даже с дрожью в руке — и обиделись. Сами при пятнадцатом номере заказывали, чтобы им шафруа из дичи с трюфелями, а отправили назад.

— Я, — говорят, — и не думал заказывать. Это я еще вчера пробовал, а заказал я... — Заглянул в карту и ткнул в стерлядки в рейнском вине. — Я стерлядки заказал!

Пожалуйте! А я так явственно помнил, что шафруа, да еще пальцем постучали, чтобы французский трюфель был. И метрдотель записал на меня ордер на кухню. Хоть сам ешь! Да на кой они мне черт и шафруа-то! В голове-то у меня — во-от!

И что такое с Колюшкой случилось, откуда у него такие слова? Рос он, рос, и не видал я его совсем. Да когда и видеть-то! На службу уходишь рано, минуту какую и видишь-то, как он уроки читает, а придешь ночью в четвертом часу — спит. Так и не видал я его совсем, а уж он большой. И не вспомнишь теперь, какой же он был, когда маленький... Точно у чужих рос. И не приласкал я его как следует. Времени не было поласкать-то.

И вот не по нем была моя должность. А я так располагал, что выйдет он в инженеры, тогда и службу побоку, посуду завести и отпускать напрокат для вечеров, балов и похорон. И домик купить где потише, кур развести для удовольствия... Очень я люблю хозяйство! И Луше-то очень хотелось... И сам ведь я понимаю, какая наша должность и что ты есть. Даже и не глядят на лицо, а в промежутки стола и ног. У нас даже специалист один был, коннозаводчик, так на спор шел, что одним пальцем может заказать самое полное на ужин при нашем понимании. Без слова чтобы... И как что не так — без вознаграждения. Отсюда-то вот и резиновые подкладки на каблуки. Игнатий Елисеич так и объяснил:

— Был директор в Париже, и там у всех гарсонов, и никакого стуку. Это для гостей особенно приятно и музыке не мешает.

А потом заметил у меня пятно на фраке и строго приказал вывести или новый бок вставить. А это мне гость один объяснял-

ли, как им штекс по-английски стготовить, и ложечкой по невниманию ткнули. Гости обижаться могут!

Чего ж тут обижаться! Что у меня пятно на фраке при моем постоянном кипении? А что такое пятно? Вон у маклера Лисичкина и на брюках, и на манишке... А у господина Кашеротова, если взглядеться, так везде, и даже тут... Обижаются... А я не обижаюсь, что мне господин Эйлер, податный инспектор, сигаркой брюку прожгли? А образованный человек — и учитель гимназии, и даже в газетах пишут — господин... такая тяжелая фамилия... так налимонился ввиду полученных отличий, что все во круг в кабинете в пиру с товарищами задрызгали, и когда я их под ручки в ватер выводил, то потеряли из рукавного манжета ломтик осетрины провансаль, и как начали в коридоре лисиц драть, так мне всю манишку, склонивши голову ко мне на грудь, всю манишку и жилет винной и другой жидкостью из своего желудка окатили. Противно смотреть на такое необразование! А как Татьяна день... уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам... Нравственные пятна! Нравственные, а не матерьяльные, как Колюшка говорил! Пятна высшего значения! Значит, где же правда? И значит, нет ее в обиходе? К этому я ужасно в последнее время склоняюсь.

И почему Колюшка так все знал, будто сам служил в ресторане? Кто же это все узнает и объясняет даже юношам? Я таких людей не знаю. Все вообще на это без внимания у нас. Но кто-нибудь уж есть, есть. Если бы повстречать такого справедливого человека и поговорить! Утешение большое... Знаю я про одного человека, очень резко пишет в книгах и по справедливости. И ума всеогромного, и взгляд строгий на портрете. Это граф Толстой! И имя ему Лев! Имя-то какое — Лев! Дай Бог ему здоровья. Он, конечно, у нас не бывает и не знает, что я его сочинения прочитал, какие мне по тесноте времени и Колюшка предлагал. Очень замечательные сочинения! Вот если бы он зашел к нам да сам посмотрел! И я бы ему многое рассказал и обратил внимание. Ведь у нас не трактир, а для образованных людей... А если с умом вникнуть, так у нас вся жизнь проходит в глазах, жизнь очень разнообразная. Иной раз со всеми потрохами развертывается человек, и видно, что у него там за потроха, под крахмальными сорочками... Сколько людей всяких проходит, которые, можно сказать, должны учить и направлять нас, дураков... И какой пример!

И вот тогда, в то самое воскресенье, на моих глазах такое дело происходило. И кто ж это? Очень образованный человек и окончил курс наук в училище, в котором учат практической жизни, и потому называется оно — практическая академия. Значит, все на практике. Всю жизнь должна показывать на практике. И ведь сын благородных родителей и по званию коммерции советник, Иван Николаевич Карасев. Неужели же ему в практической академии не внушили, как надо снисходить к бедному человеку, добывающему себе пропитание при помощи музыкальных способностей и музыки!..

Чего-чего только не повидал я за свою службу при ресторанах, даже нехорошо говорить! Но все это я ставлю не так ужасно, как насмеяние над душой, которая есть зеркало существа.

Этот господин Карасев бывают у нас часто, и за их богатство им у нас всякое внимание оказывается, даже до чрезвычайности. Сам директор Штросс иногда сидят с ними и рекомендуют собственноручно кушанья и напитки, и готовит порции сам главный кулинар, господин Фердинанд, француз из высшего парижского ресторана, при вознаграждении в восемь тысяч; он и по винам у нас дегустатор, и может узнать вино даже сквозь стекло. И берет даже с поваров за места! Очень жадный. А Игнатий Елисеич с Карасева глаз не спускает и меня к ним за мою службу и понимание приставляет служить, а сам у меня выхватывает блюда и преподносит с особым тоном и склонив голову, потому что прошел высшую школу ресторанов.

Приезжают господин Карасев в роскошном автомобиле с музыкой, и еще издали слышно, как шофер играет на аппарате в упреждение публики и экипажей. И тогда дают знать Штроссу, а метрдотель выбегает для встречи на вторую площадку.

Пожалуй, они самый богатый из всех гостей, потому что папаша их скончался и отказал десять миллионов и много фабрик и имений. Такое состояние, что нельзя прожить никакими средствами, потому что каждую минуту у них, Игнатий Елисеич вычитал, капитал прибывает на пять рублей. А если они у нас три часа посидят, вот и тысяча! Прямо необыкновенно. А одеваются каждый раз по последней моде. У них часы в бриллиантах и выигрывают бой, ценою будто в десять тысяч, от французского императора из-за границы куплены на торгах. А на мизинце бриллиант с орех, и булавка в галстухе с таким сиянием, что даже освещает лицо голубым светом. Из себя они красивы, черно-

усенькие, но рост небольшой, хоть и на каблуках. И потом, голова очень велика. Но только они всегда какие-то скучные, и лицо рыхлое и томительное ввиду такой жизни. И как слышно, они еще в училище были больны такой болезнью, и оттого такая печальная тоска в лице.

К нам они ездили из-за дамского оркестра, замечательного на всю Россию, под управлением господина Капулады из Вены.

Наш оркестр очень известный, потому что это не простой оркестр, а по особой программе. Играет в нем только женский персонал особенного подбора. Только скромные и деликатные и образованные барышни, даже многие окончили музыкальную консерваторию, и все очень красивы и строги поведением, так что, можно сказать, ничего не позволят допустить и гордо себя держат. Конечно, есть, что некоторые из них состоят за свою красоту и музыкальные способности на содержании у разных богатых фабрикантов и даже графов, но вышли из состава. Вообще, барышни строгие, и это-то и привлекает взгляд. Тут-то и бьются некоторые — одолеть. Они это играют спокойно, а на них смотрят и желают одолеть.

И вот поступила к нам в оркестр прямо красавица, тоненькая и легкая, как девочка. С лица бледная и брюнетка. И руки у ней, даже удивительно, — как у дити. Смотреть со стороны одно удовольствие. И должно быть, нерусская: фамилия у ней была Гуттелет. А глаза необыкновенно большие и так печально смотрят.

Я-то уж много повидал женщин и девиц в разных ресторанах: и артисток, и балетных, и певиц, и вообще законных жен, и из высшего сословия, и с деликатными манерами, содержанок, и иностранных, и такой высшей марки, как Кавальери, признанная по всему свету, и ее портрет даже у нас в золотой гостиной висит — от художника из Парижа, семь тысяч заплачено. Когда она раз была у нас и ужинала в золотом салоне с высокими лицами, я ей прислуживал в лучшем комплекте и видел совсем рядом... Так вот она, а так я... Но только, скажу, она на меня особого внимания не произвела. Конечно, у ней тут все тонко и необыкновенно, но все-таки видно, что не без подмазки и в глаза пущена жидкость для блеска глаз, я это знаю... но барышня Гуттелет выше ее будет по облику. У Кавальери тоже глаза выдающие, но только в них подозрительность и расчет, а у той такие глаза, что даже лицо освещается. Как звезды. И как она к нам поступила —

неизвестно. Только у нас смеялись, что за ней каждый раз мамаша-старушка приходила, чтобы ночью домой проводить.

И вот этот Иван Николаевич Карасев каждый вечер стали к нам наезжать и столик себе облюбовали с краю оркестра, а раньше все если не в кабинете, то против главных зеркал сиделись. Приедут к часу открытия музыки и сидят до окончания всех номеров. И смотрят в одно направление. Мне-то все наглядно, куда они устремляются, потому что мы очень хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью. Особенно при таком госте... И глазом поведут с расчетом, и часы вынут, чтобы бриллиантовый луч пустить прямо в глаз. Но ничего не получается. Водит смычком, ручку вывертывает, а глаза кверху обращены, на электрическую люстру, в игру хрусталей. Ну, прямо — небожительница и никакого внимания на господина Карасева не обращает. А тот не может этого допустить, потягивает шлосганисберг — пятьдесят шесть с половиной, семьдесят пять рублей бутылочка! — и вздыхает от чувства, а ничего из этого не выходит.

И вот сидели они тогда, и при них для развлечения директор Штросс, а я в сторонке начеку стою. Вот Карасев и говорит:

— Не понимаю! — резко так. — И в Париже, и в Лондоне. И я удивлен, что...

Очень резко. А как гость горячо заговорил, тут только смотри. Даже наш Штросс задвигался, а он очень спокойный и тяжелый, а тут беспокойство в нем и сигару положил. Подбородок у него такой мясистый, а заиграл. Притронулся к руке господина Карасева, а голос у него жирный и скрипучий, так что все слышно.

— Глубокоуважаемый... У нас не было еще... но как угодно... для музыки...

И сигару засосал. А Карасев так ему горячо:

— Вот! Это у меня правило, и я желаю оценить... И я всегда...

А Штросс не отступает от своего.

— У вас, — говорит, — тонкий вкус, но я не ручаюсь...

И что-то шепотом. Уж и хитрый, хоть и неповоротливый по толщине. Сказывали, будто он уж заговаривал с барышней в коридоре, но она очень равнодушно обошлась. А Карасев плечами пожал и меня пальцем. Вынимает карточку и дает мне:

— Сейчас же к Дюферлю, чтобы букет из белых роз и в середку черную гвоздику! И чтобы Любочка собрала! Она мой вкус знает. Живей!

Вижу, какое дело начинается. А-а, плевать. Покатил я за букетом, а в мыслях у меня, сколько он мне за хлопоты отвалит. Вот и дело с Кривым уладим, дам ему трешник за пиджак... А как вспомнил про его слова — хоть домой беги. Вот что внутри у меня делается.

Подкатил к магазину, а там уж запираются. Но как показал карточку — отменили. Хозяин, немец, так и затормошился. Руки потирает, спешит, барышень встормошил...

— Сейчас, сейчас... Где нож? Проволочки скорей!..

Мальчишку пихнул, схватил кривой ножик и прямо в кусты.

Сказал я ему, что барышне Любочке приказали делать, а он и не вылезает. Тогда я уж громче. Выскочил он из цветов, вынул из жилетки полтинник и сует:

— Скажите, что она... Ее сейчас нет, но скажите, что она... Я по их сделаю, уж я знаю... Для молодой девицы букет или как?

И барышням по-французски сказал, а те смеются. Сказал я — для кого.

— А-а... в ресторане? Хорошо.

И вдруг красную розу — чик!

— Из белых наказали, — говорю. — И гвоздику черную в середку.

— Да уж знаю! — И опять с барышнями по-своему, а те улыбаются. — Будет с гвоздикой.

И посвистывает. Роскошный букет нарезали, на проволочки навертели, распушили, а красную-то растрепали на лепестки и внутри пересыпали. И вышел белый. А черная гвоздика, как глаз, из середки глядит. Лентами с серебром перехватил — и в бант. Потом поднес лампочку на шнурке к стеклянному шкафу и кричит:

— Наденька, выберите на вкус... Нюточка!..

Стали они спорить. Одна трубку с серебряной змейкой укачивает, а другая не желает.

— Им, — говорит, — Фрина лучше... Я его знаю вкус.

А немец и разговаривать не стал.

— Змею — это артистке, а тут Фрина лучше, раз в ресторане...

И вытащил из шкафчика. Почему Фрина — неизвестно, а просто женская фигурка вершков восьми, руки за голову, и все так, без прикрытия. Букет ей в руки, за голову, закрепил во вставочку, и вышло удобно в руках держать за ножки. Потом на ленты духами sprysнул и в станок, в картон поместил.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА	5
РОССТАНИ	135
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША	201
СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ. <i>Эпопея</i>	259
ЛЕТО ГОСПОДНЕ	
Праздники	429
Радости	559
Скорби	713
БОГОМОЛЬЕ	797